АЗБУКА ВЕРЫ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

Емеля-охотник (Рассказы)

Художественная литература · azbyka.ru

Емеля-охотник (Рассказы) – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/emelya-ohotnik-rasskazy

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Емеля-охотник (Рассказы)

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьевая гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет Божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко… а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть… А?

— Погоди, добудем… Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он

лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка… — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть…»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться… Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна…

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня… — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького…

— Ну, я буду тебя ждать… Смотри не промахнись, когда стрелять будешь…

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшие ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи… — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге.

«Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля.

Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах… Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история…

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско… Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь… Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох… Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка… и непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка… Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь…» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное

десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него… Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному…

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать ею Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун… — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела… Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти… Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А… дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук… видел его…

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает… Я прицелился…

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя… матку пожалел… Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видели. Убежал, пострел этакий…

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Вольной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук…

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Последняя треба (Рождественский рассказ)

Посвящается памяти Маруси

I

Рождественская заутреня была на исходе, когда в церковь торопливо вошел лесник Евтроп. Это был плечистый, высокий мужик с бородатым, угрюмым лицом. Он как-то сразу почувствовал себя неловко в этой толпе молящихся, - давно не бывал в церкви, да и совестно быть выше всех головой. Церковь показалась ему такой маленькой, точно она вросла в землю за время его отсутствия. Торопливо перекрестившись, лесник начал проталкиваться вперед.

- Куда прешь-то? - остановил его случившийся поблизости церковный староста, обходивший церковь с кружкой. - Ведь не в лес пришел...

- Парасковья-то... мне бы попа[1] Савелья... - бормотал смущенно лесник, глядя на старосту умоляющими глазами. - Значит, тово...

Обождешь...

Лесник что-то хотел сказать еще, но только махнул рукой. Он почувствовал всем своим громадным телом, что его здесь все ненавидят. Да, ненавидят, несмотря ни на святое место, ни на церковную службу. Одни от него отвертывались, другие делали вид, что не узнали, третьи косились, и все ненавидели, потому что он всем им чем-нибудь досадил. В маленькой деревянной церкви собрались жители нескольких соседних лесных деревень, съехавшиеся сюда встретить праздник. Всем так или иначе приходилось иметь дело с лесным кордоном, где царил суровый Евтроп, и у многих являлась не раз грешная мысль отправить лесника на тот свет. Очень уж лют до чужого добра.

В церкви было и жарко, и душно. По старинному обычаю бабы занимали левую сторону, а мужики правую. В спёртом воздухе свечи горели красными пятнами. Приход был бедный, и даже в такой праздник маленькая церковь была освещена мало. Больше всего свеч стояло перед местным образом Богоматери, - это ставили бабы своей Усердной Заступнице. Старинный иконостас, прокопченный и с облупившейся кой-где позолотой, старенький дьячок на правом клиросе, два старых трапезника, старый староста у прилавка со свечами - все здесь было старое, бедное. Вышел на амвон говорить отпуст поп Савелий в старенькой ризе, - и какой поп - простец, а не поп. Лицо скуластое, глаза узкие, волосы лежали жиденькими косицами. Сколько ему было лет - трудно сказать, или, вернее, — лет не было. Бывают такие люди. Леснику показалось, что и поп Савелий посмотрел в его сторону враждебно.

Воспользовавшись перерывом в службе, лесник протискался вперед, к самому амвону. Толпа шушукалась, особенно бабы, но никто не расходился в ожидании обедни.

- Зачем сюды змея-то принесло? - слышался шепот
за спиной лесника.

Но он не обернулся, а смело направился в алтарь, тяжело ступая по деревянному амвону. В пономарских дверях его грубо остановил старый трапезник.

- Куды прешь?..

- Мне бы попа Савелья… Значит, тово…

В этот момент вышел сам поп Савелий. Он был в новеньком люстриновом подряснике и такой же ряске.

- Чего тебе, Евтроп?.. - спросил поп Савелий, давая благословение громадному человеку.

- Жена помирает… неблагополучно разрешилась… значит, тово… - бормотал лесник со слезами в голосе. - С вечера мается и помереть не может… За тобой послала, потому хоть и баба, а христианская душа…

- Что же я поделаю, Евтроп: сейчас начинается обедня. Народ ждет. Съехались из дальних деревень. Вот кончу обедню, тогда и поеду.

- А ежели Парасковья-то помрет?..

- После обедни поезжай, поп… - загалдели окружавшие их мужики. - Тоже немало народу ждет… Не одна твоя Парасковья. Бабы живучи, обождет.

В голосах слышалось скрытое озлобление. Евтроп это чувствовал и посмотрел умоляющими глазами на попа Савелия.

- Помирает, говоришь? - спрашивал поп, перебирая полу своей ряски. - Этакий грех… гм…

- Пластом лежит. Слёзно молила привезти попа, потому смертный час пришел Парасковье… Как она маялась…

Голос Евтропа оборвался, и он кулаком вытер слезу. Поп Савелий опустил глаза и вздохнул. Как же быть-то в самом деле? Ему вдруг сделалось жаль этого громадного мужика, в котором говорило такое близкое горе… А там ждет умирающая последнего напутствия. Одна, в лесной избушке… считает минуты… прислушивается к каждому шороху… Поп Савелий обвел глазами свое духовное стадо и снова опустил глаза. Все были против лесника и не отпустят его, а идти против мира он не мог.

- Ах, какой грех… Так помирает твоя Парасковья? — повторял поп Савелий, поднимая глаза на Евтропа. - Кто же там, на кордоне?

- Да она не одна. Танька при ней. Восьмой год Таньке-то пошел в Петровки. Ну, мальчонко… Уж больно она маялась, пока Господь разрешил…

Наступила длинная пауза. Мужики угрюмо молчали, переминаясь с ноги на ногу. Евтроп смущенно перебирал в руках свой олений треух и не двигался.

- Так уже, видно, тово… - заговорил поп Савелий, разглаживая бородку. - После обедни, значит… Главное: народ ждет. Сейчас к обедне будут благовестить, а после обедни и поедем. До кордона не меньше десяти верст будет.

Поп сделал знак старшему трапезнику, чтобы тот шел на колокольню. Это движение испугало Евтропа. Он схватил попа Савелья за широкий рукав рясы и проговорил хриплым шепотом:

- Живые-то подождут, поп, а Парасковья помирает… ждет она…

Тут произошло что-то особенное. Старик трапезник пошел по левой бабьей стороне и точно завяз. Его не пускали ни взад ни вперед. Бабы окружили его живой стеной, как овцы. Старик пробовал раздвинуть толпу, размахивал руками, уговаривал, но все было напрасно.

- Да вы очумели, никак! - вступился староста, пробиваясь на выручку застрявшему трапезнику.

- А не твое дело! - отрезала ему ближайшая бабенка, отталкивая руками. - Попробовал бы сам бабью-то муку принять…

Это послужило сигналом. Бабы зашушукали все разом, где-то послышались причитанья, стоны и всхлипыванья.

- Мы обождем, - крикнул из толпы старушечий голос. - Поезжай с Богом, поп Савелий… Не таковское это дело, чтобы мужиков слушать.

Мужики смущенно молчали. Поп Савелий оглянул толпу и понял, что ему следовало делать. Он отправился в алтарь, помолился, взял походную дарохранительницу, надел старенькую баранью шубёнку и опять вышел на амвон. Здесь он подошел к местному образу Богоматери и помолился. Он любил этот образ, -какой кроткий лик смотрел на его паству, а тут еще предвечный Младенец с простертыми вперед руками.

Толпа расступилась, когда поп Савелий, заплетаясь в своей шубенке, быстрыми шагами пошел к выходу. Евтроп шагал за ним, опустив голову. Жгучее чувство тоски у него сменилось смутной надеждой… А может быть, Господь помилует для сирот? Ведь трое их, сирот-то, с новорождённым… Ах, скорее, скорее: Парасковья ждет?

Раз решение состоялось, никто больше не спорил. Мужики толпой вышли проводить попа. У церковной ограды, потонувшей в глубоком снегу, была привязана Лысанка, знаменитая лошадь Евтропа, ходившая за ним, как собака. Это была самая неуклюжая тварь самой невозможной масти, точно вымазана была сметаной и вдобавок с белыми глазами, что придавало ей глупо-дикий вид. Евтроп хотел садиться в свои сани, когда его остановили.

- Куцы ты лезешь, дуролом?!.

Евтроп ничего не понимал. Мужики обступили лошадь и решили все дело.

- Поп Савелий поедет один, потому как Лысанке двоих-то вас везти не под силу, пожалуй, будет… Убродно сейчас ехать, а Лысанке надо еще два конца сделать. Доедешь один-то, поп?

- Как не доехать, доеду, - согласился поп, запахивая свою шубенку.

- Повертка будет на шестой версте, так ты держи правой руки… - советовали мужики, усаживая попа в сани. - Ну, с Богом! Да ты тово, поп, ро́спашнем не езди… Вот тебе опояска. Вон как погода-то завивает… Помни по-вертку-то.

Кто-то снял опояску, и ею опоясали попа. Чья-то рука поставила воротник, другая нахлобучила баранью шапку на самые уши, и поп был готов. Отвязанная Лысанка взглянула на хозяина, брыкнула задними ногами и не хотела идти. Двое мужиков под уздцы вывели проклятую скотину на дорогу, двое других пристегнули ее, и Лысанка рванулась так, что поп едва усидел.

- С Богом!..

II

Зимняя вьюга выла волком. Кругом было темно, как в трубе. Сухой снег переносился с места на место, как толченое стекло. Полозья скрипели, точно их кто хватал зубами. Одним словом, настоящая волчья ночь. Но поп Савелий ничего не боялся: разве в первый раз ему приходилось ехать с требой в такую погоду?

Отъехав, он оглянулся на церковь. Она светлела в снегу, как фонарь. Поп выпростал правую руку из меховой рукавицы и перекрестился. Он любил свою деревянную церковь, как родную мать. А вон в стороне и церковный домик, заметенный сугробами. В одном окне чуть брезжился слабый свет от лампадки. Село Полома совсем затерялось в глухом лесу. Всех дворов не наберется и двух сотен. Они разбрелись по обеим берегам лесной речушки Поломки. Кое-где мелькали веселые огоньки. Это проворные старухи затопили печи. Давно уж живет поп Савелий в своей Поломе и знает каждую избу, каждую бабу, каждую скотину. Приход самый бедный, но поп Савелий не жаловался и не пошел бы на другое место ни за какие деньги. Его привязала к Поломе родная могила… Поступал он сюда на место еще совсем молодым и похоронил молодую жену на втором году. Умерла Савельева попадья от родов, как теперь умирала жена лесника Евтропа. Это совпадение заставило попа отнестись особенно сочувственно к горю Евтропа: родное было горе, знакомое… Да и день-то такой выдался. Один раз родится Христос в году, для всех родится, чтобы был «на земле мир и в человецех благоволение». Любил поп Савелий этот праздник, когда Христос приходил в мир, тот Христос, который лежал в яслях, которого окружали бедные пастухи.

Когда сани спустились к Поломке, Лысанка сделала отчаянную попытку вернуться назад - она стремительно бросилась в сторону и налегла всей тушей на оглоблю, но поп вовремя ухватил за вожжу и вовремя ударил упрямую скотину хлыстом. Лысанка взмахнула хвостом, брыкнулась и полетела вперед.

Лес начинался сейчас же за селом, - он обошел всю стройку живой зеленой стеной. Поломские мужики не имели даже пашен, потому что земля была холодная, неродимая. Только кое-где на пожогах сеяли ячмень. Промышляли охотой, рыбными ловлями, а главное — сплавляли лес на Каму. Кругом Поломы, по лесам и болотам, рассыпались мелкие деревушки, починки, половинки и займища. Все это жилье тянуло к Поломе, где была и церковь, и волость, и кабак. Лысанка сама свернула на глухую лесную дорогу, закусила удила и понеслась легкой развалистой рысью. Сани были простые, крестьянские «крясла», то есть дровни, с широкими отводами, перепутанными веревками. На таких кряслах возили и сено, и дрова. Главное неудобство заключалось в том, что в кряслах поддувало со всех сторон, несмотря на положенное сено. Но поп Савелий не замечал холода, проникнутый одной мыслью, мыслью об умирающей женщине, которая ждала его в лесу.

- Ну, Лысанка, трогай?.. - понукал поп, хлопая лошадь вожжой. - Что задумываешься?..

Только в одном месте поп Савелий забыл и про Лысанку, и про ожидавшую его больную. Это было в полуверсте от Поломы, где среди леса выдалась широкая поляна. Здесь было кладбище, и здесь была похоронена молодая Савельева попадья. Он придержал лошадь, перекрестился и благословил торчавшие из-под снега деревянные кресты. Это была нива Божия… Ах, сколько зарыто тут горя, забот и опять горя! Как плакали здесь лесные мужики и лесные бабы, особенно бабы! Только зеленый лес знал все их причеты и плачи… Сюда же приходили перед венцом невесты-сироты, чтобы попросить у родимого батюшки, у родимой матушки последнего благословеньица. Жалобнее этих невестиных плачей и заплачен ничего не было… Если бы этим слезам силу, так расступилась бы сама мать-сыра земля!

- Лысанка, ступай скорее!..

Сжалось поповское сердце от земного горя, и вспомнилась непрошеная слеза, которую Евтроп вытирал кулаком.

- Лысанка, скорее...

А какой лес кругом: в небо дыра. Мохнатые ели стояли точно в дорогих белых шубах, протянув над дорогой лапистые ветви. Ветер в лесу был тише, только что-то гудело в вершинах. Дорога шла корытом. Кое-где образовались свежие снежные заносы, и Лысанка с трудом тащила сани. На половине дороги она вспотела. Пар так и валил с крутых боков. Но поп Савелий ничего не замечал и все гнал ее вперед. На повороте, где нужно было взять вправо, Лысанка завязла в снегу. Дорогу здесь перемело. Снег, сгрудившись под передком, не давал ходу. А давно ли Евтроп проехал?..

- Лысанка, вперед!..

Понатужилась крепкая скотина, закусила удила, нагнула голову и выперла из сугроба.

- Ай да Лысанка, - похвалил поп. - Ну, трогай, милая: немного нам с тобой осталось. Ну, чего оглядываешься? Ступай?.. Вот Богова скотина выдалась тоже.

Поп Савелий, занятый мыслью, чтобы застать в живых умиравшую Парасковью, совсем не замечал пронизывавшего его холода. Поповская шубенка была плохонькая, выношенная, а под низом праздничный люстриновый подрясник — только и всего. Не велики и десять верст по хорошей зимней дороге, да лиха-беда в погоде.

- Только бы застать в живых Парасковью, - повторял
про себя поп Савелий, припоминая, как умирала молодая попадья.

Тоже зимой было дело. Ни доктора, ни фельдшера, а одна старуха бабушка. Ах, лучше и не вспоминать... Лысанка, скорее!..

На последних двух верстах пришлось подгонять уставшую лошадь хлыстом. Умаялась скотинка, да ничего, отдохнет. Только бы вовремя доехать...

Кордон стоял немного в устороньи от дороги, и поп проехал бы мимо, если бы Лысанка круто не повернула к своему пепелищу. Занесенная снегом изба стояла тёмная: ни в одном окне света не было. Поп едва вылез из крясел, до того окоченело все тело от холода. Когда он стал привязывать Лысанку к столбу, дикая скотина ухватила было его за плечо своими волчьими зубами. Поп пожалел разорванную шубу и торопливо зашагал по двору к пошатнувшемуся крылечку, занесенному снегом. В темных сенях он по стенке ощупью добрался до двери. С ним в избу ворвался целый клуб холодного воздуха.

- Кто там? - окликнул с печки детский голосок.

- Да это я... поп... Жива мать?

- Молчит... должно что жива... Сейчас вздую огонька, а то я тут на печке с робенком отваживаюсь. Пищит все...

Детские босые ноги бойко засеменили по полу к печи. Загремела железная заслонка. Добыв из загнеты несколько горячих углей, девочка припала к ним лицом и принялась раздувать. Скоро

синим огоньком вспыхнула приставленная к углям тонкая березовая лучинка.

- А тятька где? - тоном большого человека спросила девочка, зажигая большую лучину.

- Он там остался, в церкви. Двоим тяжело было ехать.

- Где же двоим, - согласилась девочка и прибавила детским голосом: - А тятька не в уме, что бросил нас одних. Ну, мамка помрет, а как же я с робенком-то?.. Пищит он...

Девочка подошла с зажженной лучиной к лавке, на которой лежала больная, осветила бледное лицо и серьезно проговорила:

-Жива...

Поп Савелий облегченно вздохнул. Ну, слава Богу!.. Он торопливо разделся, поставил дарохранительницу на стол в переднем углу и спросил:

- Свечки разве у вас нет?

- Какая у нас свечка... Тоже придумал! Всю зиму с лучиной сидим.

-Ах, какой грех... Надо было с собой у старосты огарок захватить, да второпях забыл. Ну, так ты того, умница, свети...

Девочка вся превратилась в одно внимание, наблюдая за каждым движением попа. Вот он развернул узелок, надел епитрахиль и начал молиться в передний угол, где едва можно было разглядеть потемневший от дыма образ. Поп Савелий читал молитвы наизусть, певучим речитативом. Девочка торопливо крестилась, стараясь не потушить лучины.

- Ну, теперь свети...

Поп подошел к больной. На него апатично глянуло остановившимися глазами мертвенно-бледное лицо. Жизнь едва теплилась, и только в глазах еще мелькало сознание. Говорить больная уже не могла... Поп Савелий знал, что она умрет сейчас же после исповеди и что ее поддерживает только жажда получить последнее напутствие. Большинство так: дождутся попа и помрут...

В избе тихо раздались первые слова «глухой исповеди». Больная со страшным усилием сложила пальцы правой руки крестом и отвечала только слабым движением глаз.

- Бог простит, - отвечал поп Савелий.

Он причастил больную, благословил и приложил походный медный крест к похолодевшим губам. Глаза больной сейчас же закрылись, и поп Савелий, прикрыв ее концом епитрахили, начал читать отходную.

Маленькая девочка стояла с лучиной и наблюдала с раскрытым ртом, пораженная невиданным зрелищем. Наконец, лучина у нее погасла.

-Кончилась... - тихо проговорил поп Савелий, прислушиваясь к замиравшему хрипенью больной. - Господи, прости и благослови!..

III

Было темно и тихо. Девочка опять полезла в печь «вздувать огня». Поп стоял посреди избы и только теперь почувствовал, что он ужасно прозяб, прозяб до того, что не мог сказать, было в избе тепло или холодно. Пальцы рук скрючились, как деревянные, - и это он тоже почувствовал только теперь, когда все кончилось.

- А я тебя боюсь... - заявила девочка, когда изба осветилась только что зажженной лучиной.

- Вот тебе раз! А давеча не боялась?

- Давеча мамка была жива, а ты приехал - она и померла...

Девочка присела на лавку и горько расплакалась. Поп Савелий видел эту детскую головку со спутавшимися белыми волосенками, скрещенные голые ножки, худенькие ручки, тоненькую шейку и понял, что он ничего не может сделать здесь больше и что должен вот сейчас ехать. Служба не ждет...

- Ах, милая... как же нам быть с тобой? - бормотал он, глядя на девочку. - Погоди, скоро тятька приедет... Одна-то не боишься остаться?

-Б-бо-юсь... - слезливо протянула девочка. - И тебя боюсь, и без тебя боюсь...

В этот момент запищал на печке ребенок, и девочка торопливо проговорила, передавая лучину попу:

- Ты подержи-ка лучину-то, пока я с ним там буду водиться. Он совсем ма-ахонькой, как клопик!..

Поп Савелий остался посреди избы с лучиной в руках, а шустрая девчонка уже возилась на печке, где в лукошке что-то пищало и корчилось.

- Свети хорошенько, а то погасишь лучину-то! - сердито крикнула девочка, стоя на коленях над своим лукошком.

- Ну, умница, так? - ласково говорил поп, вставая одной ногой на приступок. - Ничего, жив будет: вон как кричит...

В ответ ему улыбнулось детское личико, полное такой большой материнской тревоги. Сейчас девочка уже не боялась попа. Он ей казался добрым... А поп смотрел на маленькую няньку и не чувствовал, как у него по лицу катились слезы. Господи, какая ночь, и какое вечное чудо творится кругом нас каждый час и каждую минуту, и как мы не замечаем этого чуда... Разве жизнь кончается хотя на одно мгновенье?.. Вот и в этой девочке та же премудрость Божия, которая научает птицу вить свое гнездо, дикого зверя пестовать своих детёнышей и несмышленого младенца заменять мать.

- Тятька-то, поди, на брезгу выворотится, - тоном взрослого человека заметила девочка, укачивая свое лукошко. - Ты поезжай скорее, а то напрасно лошадь задерживаешь... Я уж тут как-нибудь одна управлюсь.

Поп Савелий благословил новорождённого и няньку и спавшего на полатях мальчика и погасил лучину. В темноте он надел свою шубеёку, опоясался и еще раз благословил «усопшую рабу Божию Параскеву».

- Ну, прощай, Танюшка...

- И то прощай, поп... Мотри, чтобы Лысанка-то где-нибудь на повороте не выкинула тебя из рясол. От нее станется, от белоглазой. Да с левой стороны не подходи к ней, когда будешь отвязывать: зацепит зубищами-то как раз.

- Она и то за плечо было сцапала меня...

- Ну вот... Только одного тятьку и знает. Скажи тятьке, чтобы привез из Поломы тетку Маланью. Сбилась я с робенком...

Поп Савелий почувствовал смертную усталость, когда вышел из избы снова на мороз. Да и вьюга очень уж закрутила... На дворе от его следов не осталось и помину. Лысанка вся скорчилась и дрожала. Она не сделала ни малейшей попытки еще раз рвануть попа, как давеча.

- Ах, замешкался с девчонкой! - пожалел поп, усаживаясь в сани. - Ну, Лысанка, трогай!

Лысанка точно понимала, какое трудное дело ей предстояло впереди, и оглянулась. Бывалый конь: два раза медведь драл, волки хватали раз десять, и Лысанка уходила и жива, хоть морда у нее и была оборвана, а медвежьи лапы оставили глубокие следы на задних ногах.

Ветер крутил в воздухе совершенно сухой снег, который так и резал лицо. Что-то зловещее ныло и стонало в воздухе.

- Вот так задалась ночка, - вслух проговорил поп, когда сани заскрипели по сухому снегу.

За какой-нибудь час дорога сделалась неузнаваема, особенно по ложкам и открытым еланям. Поп Савелий опустил вожжи и съежился: очень уж донимал его холод. Когда вперёд ехал, так ничего не замечал, но сейчас нервное приподнятое настроение сменилось усталой апатией. Не замечал поп Савелий, что и Лысанка изошла силой и только-только тащила сани, с трудом вытаскивая свои мохнатые ноги из снега. Она все чаще и чаще оглядывалась назад, точно хотела сказать, как ей тяжело.

Сколько времени ехали до повёртки, поп Савелий затруднился бы ответить. Самое время как-то потеряло течение. Долго ехали, а сколько - трудно сказать... Поп Савелий задремал и очнулся только тогда, когда сани остановились. Что такое случилось?.. Лысанка тонула в снегу. Это был давешний сугроб, а сила уж не давешняя.

- Ах, милая... - проговорил поп, вылезая из саней с величайшим трудом - от каждого движения руки и ноги резало точно ножом.

«А ведь этак и замерзнуть недолго, - подумал поп, припоминая свою дремоту. - Точно проморило...»

Он попрыгал на снегу, похлопал руками, подтянул потуже опояску и принялся за лошадь. Надо ее вытаскивать из снега... А Лысанка уже лежала, вытянув голову: ногами она не доставала твердой дороги. Поп Савелий отоптал кругом снег и потянул Лысанку за повод, - она продолжала лежать. Пришлось отаптывать сани и выгребать снег из-под передка прямо руками. А ветер так и пронизывает насквозь... Даже дышать трудно.

- Лысанушка, милая...

Лошадь тяжело дышала, полузакрыв глаза. Отдохнув в снегу, она сделала отчаянное усилие и рванулась всем телом. Сани были выхвачены. Почувствовав под ногами твердую дорогу, Лысанка храпнула, мотнула головой и встряхнулась так, что затрещали гужи.

Поп Савелий рассчитывал, что согреется от работы, а вместо того его так и валила с ног мертвая усталость. Он с трудом забрался в сани, подкорчил под себя ноги и окоченевшие руки спрятал за пазуху. Лысанка была предоставлена самой себе и пошла мерным шагом, как всякая возовая лошадь. Иногда она останавливалась, чтобы сделать передышку, мотала головой, фыркала и опять начинала тяжело шагать. А вьюга разыгралась вовсю... Даже здесь, в лесу, ничего нельзя было рассмотреть в двух шагах: перед глазами ходила какая-то мутно-белая стена.

Всего сильнее у попа Савелия мерзли руки и ноги. Ужасное чувство, когда живая кровь начинает застывать в живом теле... Он несколько раз выходил из саней и пробовал согреться на ходу, но только сильнее уставал. Да и дороги оставалось немного: всего несколько верст. Лысанка напрягала последние силы, вытянув шею.

- Лысанушка, не выдавай!..

Поп Савелий прилег на левый бок, подставив под ветер спину. Так будто теплее... А шуб\нка совсем негодящая, да и нет другой. Эх, поторопился, надо бы надеть под шубу стеганый теплый подрясник. Тоже старенький подрясник-то, а только куда бы теплее! Еще при покойной попадье был сшит. Мастерица была... Кабы жива была, пожалуй, и не пустила бы в такую непогодь! А там народ в церкви ждет... Старики которые и поворчат, ну да пусть ворчат: дело Божье сделано. Дождалась-таки Парасковья-то... Уж глаза мутные стали, а попа признала. Все они такие: пока здоровы, так всё на попа, а помирать пришлось - за попом. Поп с живого и с мертвого дерет, и еще разное другое. Конечно, темнота!.. А вот где это звон? Неужели в Поломе заблаговестили, не дождавшись его? Поп Савелий прислушивается - нет, это ветер гудит по лесу.

Гудит ветер, белым саваном гуляет вьюга, стонет дремучий лес... А что это там впереди? Зеленый огонек... раз... два... три... волки!.. Поп Савелий в ужасе открывает глаза: нет, опять поблазнило. Дрема так и клонит... А Полома уж совсем близко, он это чувствует, потому что Лысанка прибавила шагу. Да, близко... Вот искоркой затеплился первый огонек... другой... третий... Лысанка понеслась стрелой. Сейчас и обедню начинать. Слава Богу, все благополучно! А народ уже ждет попа в церкви. Только подъехали сани к ограде, как и колокол загудел. Поп Савелий быстро заходит в церковь и чувствует, как его охватывает живое тепло... Он идет прямо к местному образу, хочет помолиться и видит чудо: младенец Христос улыбается ему и протягивает руки... Страшно сделалось попу Савелию, жутко, а другие ничего не замечают и только смотрят на него.

- Смотрите... смотрите... — шепчет поп Савелий. - Великое чудо мне недостойному...

И все-таки никто не видит, и попу Савелию делается еще страшнее, а предвечный Младенец все улыбается и все тянется к нему простертыми вперед ручками.

IV

Когда сани с попом Савелием пропали в ночной мгле, лесник Евтроп несколько минут стоял у церковной ограды в тяжелом раздумье. Возвращаться в церковь ему не хотелось, да и идти больше было некуда. Провожавшая попа толпа мужиков разошлась, и он слышал, как кто-то сказал:

- Поделом вору и мука…

От этих слов у него закипело озлобление против всех. Чему они обрадовались? Чужая беда сладкой показалась. Евтроп посмотрел на мутное зимнее небо, прислушался к завывавшей метели и пожалел попа Савелия: как бы не застрял он где-нибудь в сугробе. Ну, да Лысанка выволокет…

Так он в церковь и не пошел, а присел на деревянную лавочку у паперти, где летом отдыхали старики и старушки.

Толпа в церкви немного поредела. Многие разбрелись по домам, чтобы вернуться с благовестом к обедне. Оставались приезжие из соседних деревень, которым, как и Евтропу, некуда было идти. Бабы расселись на полу и потихоньку шушукались. Мужики сбились в кучку у старостина прилавка. У всех была одна мысль… Странно, что думали не о попе Савелии и не об умирающей Парасковье, а об Евтропе, который сидел на ветру и стуже.

- Тоже совесть есть… - говорил кто-то из стариков. - Как собака на сене лежит: сама не ест и другим не дает, так и он у себя на кордоне. Сколько из-за него протоколов-то написали… штрафы… высидка…

- Кровь нашу пил!..

- Жалованье от казны получает… Тоже, чиновник!..

- Вот и отлились медведю коровьи слезы.
Выгрузив весь запас накипевшей ненависти, мужики замолчали. Старик староста, нахмурившись, пересчитывал медные деньги. В церкви слышалось теперь бабье сдержанное шушуканье. Лесные бабы расселись по полу, как редька на гряде. У всех головы были замотаны яркими бумажными шалями, какие надевались только по праздникам. Бабы обсуждали вопрос, дождется Парасковья попа или не дождется.

- Как не дождаться, бабоньки… Тоже ведь христианская душа. Матушка Заступница поможет… Такое дело-то…

- Одна-одинешенька на кордоне-то замаялась… Устигла беда невзначай.

- А около-то девчурочка махонькая. Испить некому подать… Не приведи Господи никому!

- И поп у нас простой. Другой бы не поехал от обедни.

- Простой, на что проще… Да и то сказать, не чужое горе: сам попадейку молоденькую схоронил от родов. Мужики-то даве не пущают, а ему охота, значит, попу…

- Охота не охота, а обязан, потому Божье дело, ежели Парасковьин час пришел… А где же Евтроп-то?..

- На лавочке сидит у паперти…

- Ах, бабоньки!.. Да ведь стужа на дворе!..

В этой толпе боролись два чувства: исконная ненависть к леснику и жалость к его настоящему положению. Очень сильно было первое чувство и долго не уступало второму. Толпе нужно было выговориться и вылить накипевшее зло. Затем наступила тяжелая пауза…

А куда он с ребятишками-то денется? - послышалось на бабьей половине.

- Ох, и не говори: совсем пропащее дело! Таньке-то только в Петровки восьмой годок пошел, а под ней мальчонка, почитай, еще из сосунков не вышел, да еще ребенок грудной… Евтроп-то по лесу шляется, а как ребята будут?..

- Не вовремя Парасковья надумала помирать. Обождать бы ей лет с пять.

- И жениться Евтропу на детей мудрёно.

- Хорошая девка ни в жисть не пойдет…
Прихлынувшее к ребятам-сиротам сожаление сразу перевесило враждебное чувство к Евтропу. Умный старик староста выждал именно этот момент, подозвал к себе особенно злобившегося на Евтропа мужика и сказал:

- Сегодня какой день-то, мил-человек?.. То-то вот… Ты злость свою не забыл, а там живой человек мерзнет. У него сироты… Ступай-ко да приведи его обогреться. Может, и тебя Господь простит… Не нашего это ума дело, да и час не такой.

Лесной мужик только вздохнул и тяжело вышел из церкви. Евтроп сидел на своей лавочке, опустив голову.

-Евтроп… а Евтроп? Чего студишься-то задарма?.. Староста велел тебя в церковь вести. Обогрейся ужо…

Лесник не понял, что ему говорил мужик, - это был тот самый, который сказал давеча: «Поделом вору и мука».

- Да иди, говорят!.. Чего идолом-то сидишь здесь? Евтроп поднялся и молча зашагал на паперть. Его провели в сторожку, где жарко топилась печка. Сторожка была маленькая, и лесник не знал, как ему повернуться. Кто-то посторонился и уступил ему место у печки. Все молчали, и только было слышно, как в трубе завывает вьюга.

- Где-то теперь поп Савелий катит? - заметил старый трапезник, мешая угли в печи. — Поди, уж повёртку проехал…

Лесник встрепенулся. Он сразу прикинул в уме время, непогодь, Лысанкину силу и решил:

- Как раз сидит поп в сугробе на повёртке… Ну, да ничего, Лысанка вызволит!

Опять молчание. Опять только ветер завывает в трубе. К огню протянуты корявые мозолистые руки; на лица падает красная колеблющаяся тень. Евтроп поглощен мыслью о своем лесном гнезде. Его опять охватывает жуткое чувство… И Парасковью жаль, и ребятишек, да и себя попутно. Какой он теперь человек будет? Здорова была Парасковья, так и в счет не шла. Бивал он ее под пьяную руку не раз… А вот и его Господь нашел: как крышкой накрыло горем-то! Людям праздник, людям радость, а ему потёмки. Ужо домовину [домовина — гроб. В лесных местностях делают гроб из цельного дерева] надо налаживать. И кряж есть такой на примете.

- Теперь, надо полагать, поп требу правит, - заметил старый трапезник, подбрасывая в печку дров.

- Надо полагать… - согласился Евтроп, прикидывая в уме время. - Как вот он назад-то поедет! Пожалуй, Лысанка из силы выступит… Тоже нелегкое дело три конца в такую непогодь

сделать.

Мужики заговорили о Лысанке: выдюжит или не выдюжит? Настигнутый несчастьем лесник теперь сделался предметом общего сочувствия, хотя открыто этого никто и не высказывал. Могутный мужик, а без бабы грош ему цена! Лесным делом и с ребятишками некуда деться... В деревне соседки бы присмотрели, ну, старушка какая бобылка подомовничала, а на кордоне одни изомрут. Жаль мужика, вот как жаль!

Евтроп чувствовал это поднимавшееся к нему сочувствие, как чувствовал теплоту от горевшего в печи огня. Раньше его поддерживало общее озлобление, а теперь он вдруг ослабел, обессилел, изнемог и сделался беспомощно жалким. В таких положениях физически сильные люди особенно жалки… Мужики это чувствовали и старались не смотреть на Евтропа. Захолонуло у него на душе, пусть сам оклемается!.. Главное, чтобы бабёнки не разжалобили своим хныканьем.

- Ну, теперь поп назад едет...

Прошло уже часа два, и терпение истощилось. Раньше считали часы, а теперь минуты. Самые нетерпеливые выходили на паперть, чтобы посмотреть, не едет ли поп Савелий. Уж давно пора!.. Наконец, прошли все сроки.

- Где же поп-то? - приставали мужики к Евтропу.

- А я почем знаю: должон воротиться...

- Может, проезду нет?

- Я проехал... Больно вьюга окрепла.

- А Лысанка вывезет?

- Она-то вывезет, ежели в сугробе не завязнет. Может, замешкался поп где-нибудь в сугробе.

Общее томительное ожидание разрешилось только, когда к церковной ограде подъехали крясла лесника. От Лысанки валил пар, от истомы она шаталась на ногах как пьяная. В кряслах, скорчившись, сидел поп Савелий и не шевелился. Он казался таким маленьким... Толпа обступила крясла.

- Батюшки, да ведь поп-то замерз! - крикнул чей-то голос.

Все ахнули. Около саней росла толпа. Послышались причитанья и тихий женский плач, а поп Савелий лежал в кряслах с блаженно счастливым лицом, как тихо заснувший ребенок.

Вольный человек Яшка

I

Глубокая осень. Последний осенний караван «выбежал из камней» только к 8 сентября. На реке Чусовой «камнями» бурлаки называют горы. Пониже камней Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной: по берегам стелется пестрая скатерть пашен, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выглянет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская церковь... и опять глухой простор на десятки и сотни верст.

Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади, – там, где сдавленная каменными кручами, река бурлила и играла, как дикий зверь. Опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов иногда аршина на два. Главным образом играли безыменные горные речушки; они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалась с гор. Так бывает только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

– Теперь будем переваливаться с плеса на плес, как блин по маслу, – говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу.

– У тебя везде масло на уме, – ворчал сплавщик[2] Лупан, припоминая последнюю хватку, когда Яшка напился до зла горя. – Все ищет, где полегче да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый…

На барке было шестнадцать бурлаков и в том числе три бабы. Собрались они с разных сторон: какие-то отбившиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии; остальные – свой чусовской прибрежный народ, выросший на сплавах.

Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз – одним словом, не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды: на нем, кроме пестрядинной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь.

– Как же это ты так ошибся одежой-то? – журил его водолив.

– А вот за работой согреюсь… Который Бог вымочит, тот и высушит.

– Пропил одежу-то?

Яшка только встряхивал головой и улыбался. Что же, было дело!.. Кто его знал, что на реке по ночам так студено будет. Ну, да одежа – дело наживное: не с одежой жить, а с добрыми людьми.

Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему и не прощали. Можно быть и пьяницей и забулдыгой, чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть – нет-нет, да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху.

– Ах, Яшка, хрен тебе в голову!.. Ну и Яшка!

На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался.

Дело было так.

Ранним утром барка бежала мимо лесистого берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холодным осенним туманом. Яшка стоял у потеси вместе с другими и корчился, как грешная душа. Вдруг он прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил:

– Эх, кабы ружье!..

– А что, Яша?

– Да вот жаркое-то как насвистывает…

В лесу действительно перекликались рябчики.

– И вкусен теперешний осенний рябчик, – объяснял Яшка. – Ишь как выделывает, шельмец!.. Рраз!.. – и жаркое. Нет лучше этого осеннего рябчика… Падает убитый с дерева, так кожа у него от жира лопается.

– Да ты охотник, что ли, непутевая голова?

– Случалось… Лет с двадцать ружьишком промышлял.

– Куда же ты его дел, ружье-то?..

Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник:

– Да он его пропил, ружье-то…

– Я? Пропил?..

Яшка вдруг обиделся, и это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой.

– Ах, Яша, Яша, зачем же это ты ружье-то пропил? – притворно жалели его. – Вот теперь и стой у потеси… Ел бы жареных рябчиков, кабы ружье-то… Ах, Яша, Яша!..

– Ничего вы не понимаете, черти! – ругался Яшка. – Едал я этих самых рябчиков достаточно. И глухарей, и уток, и косачей – сколько даже угодно.

Слово за слово – и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого, здоровенного бурлака, в которого он вцепился, точно кошка.

II

Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки и вдруг припоминаю такой же ненастный осенний день в горах, ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника… Это был он, Яшка! Как это я не узнал его сразу?.. А между тем лицо у Яшки принадлежало к числу тех лиц, которые трудно забыть.

Впрочем, наша встреча происходила ночью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии пяти-шести лет таких встреч – сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо.

Да и Яшка сильно постарел, как-то весь вылинял, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги.

Непонятно было одно: как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю?

– А ты меня не признаешь? – обратился я к нему, когда Яшка грелся у огонька, горевшего посреди барки на особом очаге.

Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил:

– Как будто и не припомню этакого барина…

– А как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагане?.. Ты за рябчиками ходил…

Яшкино лицо точно просветлело.

– А ведь точно… – заговорил он как-то особенно быстро. – Ах ты, братец ты мой!.. Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала? Вот-вот… У меня тогда тоже собака, Куфта, была – аккуратный песик! Вот как глухарей по осеням на лиственi облаивала… спелую белку искала!.. И на медведя хаживала!..

Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады:

– А вот привел Господь бурлачины отведать, барин!.. Самый пустой народ… «Ружье, говорят, пропил», а того не понимают, галманы, что такое ружье. Разве его можно пропивать?.. Нет, прямые подлецы они, барин, вот это самое бурлачье. Пропил!.. Варнаки!..

Оглядевшись кругом, Яшка прибавил вполголоса:

– Ружьецо-то у меня скапутилось… Да. Пошел по первому снегу за оленями; выследил одного, подкрался – трах!.. казенник[3] и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало… Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять его отдавал, ружье-то, денег на поправку стравил видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастеришки плохие и вконец извели. Вот я и подумал сплыть на караване до Перми: зароблю[4] восемь целковых да там и цапну новенькую орудию.

Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие.

Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большою задачей: он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком.

Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился «чаевать» со мною.

– Разве они што понимают? – объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. – Так, темный народ… Конечно, я на барке-то «пришей хвост кобыле», а поглядели бы на меня в лесу. Ну-ка, попробуй!.. Ты десять раз мимо прошел, а Яшка уж нашел. По лесу-то я барином хожу… Хочу – у огонька буду сидеть, хочу – завалюсь спать. Разве они это могут понимать?.. Яшка – вольная птица… Вот только бы Господь сподобил касательно ружья!..

Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, но это оказывалось невозможным – третьего места в балагане не было.

Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и тепле, а Яшка корчится около огонька…

– Ведь не я один колею, – объяснил Яшка. – Конечно, они варнаки и ничего не понимают, а только все же человеки…

III

Это была ужасная ночь… Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку – делали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кроме мелей, никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на две смены – дневную и ночную.

Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега… Вся барка была покрыта слоем этого снега по крайней мере на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия.

Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой важеватый[5] старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину.

– А где Яшка? – спросил я водолива, отливавшего воду.

Он, тоже молча, мотнул головой на кладку медных полос – «штык», проходивших поленницей посредине барочного дна от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью.

Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по шести штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, – там по крайней мере не заносило снегом, – но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу.

Я прислушался, – из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека.

Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если бы не было огня! Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверно, только потому, чтобы быть поближе к огоньку.

– Шли бы вы, барин, к себе в балаган, – посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. – Дело-то ваше непривычное: как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет.

Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок,

рогож и еловой коры, – на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном.

IV

Проснулся я поздно, – проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет.

Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени…
Над баркой с гоготанием тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая ранним снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь – очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов.

– Лови, робя, бей!.. – галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей.

Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший.

– Братцы!.. Родимые мои!.. Што вы делаете?.. Ах, варнаки… ах, подлецы!.. Братцы, миленькие, не троньте Божью тварь!.. Разе можно ее трогать в этакое время?.. Очумели вы, галманы отчаянные!.. Креста на вас нет, на отчаянных… Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!..

Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу.

– Што ты делаешь-то, дурья голова?.. Вот я тебя расчешу… Право, отчаянные варнаки!.. Братцы!.. Черти!..

Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у бабы гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.

– А сам-то небось стреляешь всякую птицу, ярыга! – ответно ругалась обиженная баба. – Сбесился, деревянный черт!..

– И стреляю, дура-баба… да! – орал Яшка, закипая новой яростью. – Только не на перелетах… Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая. Вот ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника вдесятеро взыщется. Так и с птичкой перелетной… Нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово: дура!.. Птичка-то к нам насела, дескать: «Дадут передохнуть, а может, и накормят», – а ты навалилась на нее как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?..

– В самом деле, братцы, не троньте Божью птицу! – поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. – Нехорошо!.. Пусть передохнет, а потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит…

– Да ведь это харч, – нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. – Такое бы варево заварили, Лупан Степаныч!..

– А ты, оболдуй, слушай ухом, а не брюхом!.. Яшка-то всех умнее себя обозначил. Да!.. Он уж это дело знает.

– Ах, Боже мой, да ведь грех-то какой! – умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. – Вон какая смирная птичка… Сама в руки идет. Только вот не говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла…» А вы ее бить!..

Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага – человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам.

Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся.

– Будто еще должен один быть? – думал он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков.

– Все тут, Яшка…

– Ну, и слава Богу!.. Спасибо, братцы!

А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.

– Эй, будет валандаться попусту! – скомандовал сплавщик. – Держи нос-от направо…

Потеси лениво забултыхались в воде. Гусиный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготаньем.

– Правильная птица! – заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. – Умнее ее нет… И живет парами, по-божески. Не то что, например, косач…

Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном:

– Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не колел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому за штуку…

V

Вечером мы вместе пили чай в балагане – я, водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее, не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка.

– Тебя не знобит? – спрашивал я.

– Нет, зачем знобить?.. Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся.

– Ну, теперь пойду на свою перину, барин…

Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой:

– Эх, Павел Евстратыч!.. То-то я давеча не досчитался одного гуська… Где у тебя совесть-то?..

– Ну, ну, подержи язык за зубами.

– Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь…

Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.

– Да ведь я его не ловил! – оправдывался водолив. – Сам он забежал в балаган. Ну, я его и пожалел: приколол.

– У волка в зубе Егорий дал?.. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо… Вот как нехорошо!

В болоте

На Урале есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда-нибудь с возвышенности, можно отлично видеть сохранившийся уровень воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфянины и болота сохранили прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он понижается в виде широких ложбин и неправильной формы ям.

Ходить по такому заросшему озеру опасно; почва так и колышется под ногами, точно идешь по натянутому полотну; в других местах нога проваливается совсем, а кое-где еще сохранились полузатянутые осокой и лапушником глубокие озерные «окна», которые даже не замерзают зимой. Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная, тоже какая-то мертвая: жесткая осока, ситник, белоус, мхи и разнообразный кустарник, начиная со смородины по краям и кончая вербой. Особенно замечательны болотные сосны и березы, по которым сразу узнаешь настоящее болото: деревья здесь превращаются в жалких карликов, точно золотушные дети, а между тем таким карликам бывает иногда лет за сто. Болотная дичь любит эти мертвые места и плодится здесь во множестве, тем более что есть такие болота, которые решительно летом недоступны охотникам.

Раз утром в конце июля я долго бродил с собакой по берегу такого болота, еще находившегося в периоде зарастания: торфяной слой залег всего на глубине полуаршина, а поверхность представлялась редким кочкарником, с водяными просветами. Под водой отчетливо можно было рассмотреть пестрый ковер прошлогодних водорослей, точно дно было выложено деревянной коричневой мозаикой. В девять часов уже сильно парило. Небо было совершенно безоблачно, и от болота поднимались тяжелые испарения. Становилось просто душно, и время было подумать об отдыхе; собака тоже устала и смотрела на расстилавшееся болото ленивыми глазами, опустив хвост. Недалеко высилась каменистая горка с сосновой гривкой наверху и зеленой опушкой из рябин внизу; я направился к ней, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени у ключика.

Я забыл упомянуть о страшном враге, который гнал нас из болота сильнее солнечного зноя; этот враг — болотный комар и какая-то мешка, бессовестно лезшая в рот, в нос и даже в уши. Приходилось постоянно отмахиваться, причем враг исчезал, как дым, а лицо, руки и шея начинали просто пухнуть от бесчисленных укушений. Люди с чувствительной кожей иногда возвращаются из такого болота с совершенно вздутыми лицами, так что даже глаза заплывают, но, конечно, привычка и некоторая опытность предохраняют несколько от подобных превращений. Шлепая по болоту, я думал с особенным удовольствием о разведенном огоньке-куреве, который разгонит болотных разбойников, но в этот момент собака глухо заворчала, предупреждая о присутствии чужого человека.

В десяти шагах от меня, по колено в воде, стояла низенькая старушка с глубоко надвинутым желтым платочком на голове; в подоле желтого сарафана она держала пучки какой-то желтоватой болотной травы.

«Какая-нибудь деревенская знахарка…» — мелькнуло у меня в голове.

— Бабушка, где здесь найти ключик? — спросил я, подходя к старушке.

— А вот сейчас под горкой, милый… вон черемуха где, — приветливо ответила знахарка, нагибаясь за новой травкой.

— Спасибо, бабушка… Травку собираешь?

— Травку, барин, травку… хорошую травку.

Я поплелся вперед к указанному месту, но старуха меня остановила:

— А там, барин, у ключика-то, у меня внучка махонькая покинута, — предупреждала она, заслоняя морщинистое, высохшее лицо от солнца рукой. — Вот песик-то твой не напугал бы…

— Хорошо, бабушка, не испугаем.

— Спит она, внучка-то…

Под кустом черемухи я действительно нашел и ключик и спавшую внучку. Место было прелестное, но можно было пройти в двух шагах, не заметив его. В глубине сцены высился скалистый гребень, обросший молодым сосняком, а ближе к воде тянулась опушка из черемухи, рябины и тальника. Нужно было раздвинуть ветви низкой черемухи, чтобы попасть на неправильной формы лужайку, поросшую густой зеленой травой. Ближе к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хрусталь, ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена по краям пестрыми камешками. Очевидно, старушка-знахарка частенько бывает здесь.

Найти спавшую девочку было тоже довольно трудно, хотя она спала почти совсем на виду, в тени той самой черемухи, на которую указывала старушка. Это была совсем еще маленькая девочка, лег четырех; она спала прямо на траве, покрытая поношенным ситцевым фартуком, из-под которого выставлялись только босые ножки, покрытые грязью и царапинами.

Устроить курево было делом минуты, и скоро едкий соломенный дым потянул кверху столбом, потому что день был безветренный и воздух стоял, не шелохнувшись. Я с наслаждением напился ключевой воды, умылся и, не торопясь, принялся готовить охотничий завтрак из убитых куликов.

— Дай-ка я тебе, барин, сама изжарю пташек-то… — проговорил за мной голос знахарки.

Я даже вздрогнул от неожиданности, и сконфуженная собака, прокараулившая подкравшуюся старуху, зарычала не на шутку и долго не могла успокоиться. Теперь я вспомнил, что я давеча совсем не заметил старухи, хотя она бродила по совершенно открытому месту и в момент встречи, как и теперь, точно выросла из земли. Признаюсь, меня всегда пугают эти неожиданные молчаливые появления, вырастающие из земли, как тени, и я каждый раз несколько времени испытываю неприятное чувство человека, который бродит в темноте и неожиданно наталкивается на совсем незнакомые предметы.

Пока я передумывал все это, знахарка с каким-то ласковым шепотом выложила собранную траву около спавшей внучки, а потом принялась за моих куликов; она, очевидно, умела обращаться с этой дичью, хотя крестьяне болотной дичи сами никогда не едят, считая ее поганой. Меня заинтересовало это обстоятельство.

— Бабушка, ты это где научилась куликов-то жарить? — спросил я, вынимая еще двух на ее

пай.

— Нет, барин, я не ем… никакого мяса не ем, — отказалась старушка и как-то печально улыбнулась. — А где я научилась куликов-то жарить… Старая я, барин, больно старая. Мало ли чего знаю… Да, старая, даже на што комары — и те не едят. Тебя вот как накрасили, а меня не едят, потому и комар свой вкус знает: одно — старое, другое — молодое…

Знахарка опять улыбнулась и, не торопясь, принялась завертывать куликов в широкие листья какой-то травы, а потом зарыла их в золу. Я рассмотрел ее подробно только теперь.

Сгорбленная, но еще бодрая, она была одета в поношенный темный ситцевый сарафан и такую же рубашку; большой темный платок покрывал голову вместе с загорелой морщинистой шеей. Ноги были босы, со следами болотной тины. Сморщеннее лицо смотрело ласковыми, светлыми глазами, сохранившими еще таившуюся в них искру жизни; когда-то это лицо, вероятно, было очень красиво, потому что и теперь еще не утратило известной приятности, особенно когда старушка улыбалась такой хорошей, спокойной улыбкой. Очевидно, она умела водиться с господами и держала себя с тем ласковым достоинством, с каким умеют обходиться заслуженные старушки-няни. Обыкновенные деревенские старухи как-то дичатся незнакомого барина и постоянно охают и стонут или ворчат.

— Какую это ты, бабушка, травку собирала в болоте? — спросил я, когда кулики были уже готовы.

— Травку-то?.. А хорошая, Божья травка… Петров-Крест прозывается.

Старушка принесла несколько стебельков и подала мне; Петров-Крест походил на ландыш, только был длиннее и имел мясистый белый корень в форме раздвинутых пальцев.

— Почему эта травка Петровым-Крестом называется? — спросил я, продолжая рассматривать отдельные стебельки.

Старушка выбрала один стебель, повернула его вверх корешком и подала мне: корешок имел неправильную форму креста. Дальнейших объяснений не требовалось.

— Для чего же тебе эта травка?

— А хорошая травка, барин, пользительная… помогает во многих болестях: когда к сердцу подкатит, поясницу ломит, от головы… От всего пользует…

— Одну эту травку собираешь или еще и другие?

— И другие травы собираю, которые на пользу… Помогаю, кто попросит… Есть больно хорошие травки, барин. Ах, какие травы есть!..

Старушка благочестиво покачала головой и тяжело вздохнула.

Старуха сидела на самом припеке и жевала какую-то корочку, которую прикрывала ситцевым платочком; зубы у ней были еще крепкие, так что слышно было, как она смело разгрызала сухие места. Моя собака, прищурившись, все время следила за ней и несколько раз переводила глаза на меня, точно спрашивая, как ей быть. Курево дымилось по-прежнему; под кустами черной смородины толклись столбом комары, в траве стрекотали какие-то козявки, где-то далеко перекликались журавли. Летний зной все наливался, и даже в тени не было спасения — из кустов так и несло тяжелой, теплой струей, бросавшей в пот. Я надеялся уснуть, чтобы

переждать самое жаркое время дня, но все попытки в этом направлении кончились полной неудачей, и в результате получилось чувство какого-то расслабления, точно после жаркой бани. А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала уходить с солнечного припека.

— Бабушка, ты изжаришься на солнышке! — проговорил я наконец, чувствуя, как мне самому делается жарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце старуху.

— Нет, милушка, я рада солнышку-то… люблю его. Кровь-то старая, не греет, а солнышком-то ее и разгоняет: все бы вот так-то сидела… хорошо… Больно я люблю это солнышко, милушка, ждешь не дождешься его зиму-то зимскую, а как солнышко начало пригревать — я все по лесу брожу, по лугам, по болотам. Дотоль буду ходить, поколь тела своего не изношу… На что оно мне теперь? Будет уж, пожила, погрешила…

— Да какие у тебя и грехи, бабушка… Так, пустяки какие-нибудь?

Старушка пытливо посмотрела на меня и тяжело-тяжело вздохнула.

В это время проснулась спавшая девочка; завидев чужого человека, она сделала серьезное лицо и вопросительно посмотрела на бабушку. Это был прехорошенький ребенок — круглолицая, с синими глазками и льняными волосиками, с румянцем во всю щеку, с таким детски-серьезным складом пухленького ротика и светлым, чистым взглядом, каким умеют смотреть только дети. В крестьянской среде редко встречаются очень красивые дети, и я с особенным удовольствием рассматривал маленькую внучку.

— Красавица будет, — проговорил я как-то невольно.

Старушка вдруг нахмурилась и как-то ворчливо заговорила:

— Ох, милушка, не нужно это слово говорить… неладно ты сказал… нехорошее это слово, барин.

— Как нехорошее?

— Да уж так, видно… Танюшка, милушка, что ты так воззрилась на барина-то? Барин хороший… Хошь поесть-то? На-ка вот, дитятко, у мене тебе прнпасено было…

Старушка достала спрятанный под кустом узелок и вынула из него ломоть белого хлеба; девочка следила за ней с заспанной блаженной улыбкой и крепко ухватилась за ломоть обеими ручонками.

— Что же я нехорошее такое сказал? — допрашивал я, когда кусок хлеба был съеден и Таня опять успела заснуть, — Вот и в песнях про красоту-то поют…

— Ах, милушка, милушка… Погибель эта самая красота нашему брату, бабе… да! Ты думаешь, я всегда такая-то была: сморщенная, да желтая, да старая?.. Ох, нет, милушка! Красивая была в девках, а замуж вышла — еще краше стала. По шестнадцатому годку замуж-то вышла, так оно было из чего хорошеть-то… В Березовском заводе тогда мы жили, настоящие, значит, березовские были, а в те времена, ух, как строго было… Казенные были, а тут начальство сторожит, потому и с начальства тоже спрашивали. Давно это, милушка, было, тогда еще тебя и в помине-то не завелось, — ну, вот и присылают к нам в Березовск одного начальника, Павла Лександры-ча… А как прислали его, народ весьма взвыл, волком вззыл, потому больно строг был Павел-то Лександрыч. Из немцев он; ну, и все требовать зачал, чтобы по закону, а тогдашние-то порядки хуже смерти были… Да и работа эта в Березовске на промыслах была

самая проклятущая: золото добывали по шахтам, в земле, милушка, робили, как черви землю-то точили… Тяжелая была работа, ну, а начальство требует, а чуть что — сейчас палками… Нынче уж этого нет, а прежде у нас на промыслах за все палками мужиков колотили. Павел-то Лександрыч больно уж донял тогда весь Березовск: и работою и своими порядками… Пробовали его подкупать, как других начальников, так куда тебе — приступу нет. Просто бедовенная беда, народу-то по приискам тыщи приколотились — все заведовали… И раньше начальство было, и взятки оно брало, сколько хотело, и вообще действовало не по закону, а жилось куда легче, чем при Павле Лександрыче; а он все по закону делал…

Да вот поди ж ты… и человек он был все-таки, надо сознаться, очень хороший, дай ему, Господи, Царство Небесное! — жалобным голосом вставила старушка. — Давно уж его нет в живности-то… Работой он томил народ больно. Помаялись-помаялись наши мужики, а ведь тогда по-военному все было — везде солдаты стояли, казаки. Ну, старики, которые промеж себя поговорили, посоветовались и вырешили, что надо выручать мир, потому всем петля на шею. Избился народ-то, а Павел-то Лександрыч все нажимает, все нажимает…

А я тогда молода была, совсем глупа, — совершенно другим тоном заговорила старушка, мешая угольки в куреве. — Ну, известно, ничего этого не понимаю… Старики так промеж себя говорят, а нам какое дело? Баб разве спрашивают в этакие дела мешаться? А тут и до меня дошла очередь… Был у меня дедушка, совсем древний старик, под сто годов ему было, и разумом уже начал он мешаться и все больше с ребятишками возился. Вот этот дедушка и говорит мне: «Матушка, ты бы хоть ягоды продавала либо грибы… Наши бабы таскают к Павлу Лександрычу, и ты бы с ними». «Штой-то, — говорю, — дедушка, учить меня, у меня свой муж есть».

Прошло так малое время, он опять свое, я к мужу. Тот из лица так выступил да и сказал только всего: «Дедушке больше нашего с тобой знать»… Бабенка я в те поры была совсем молодая, бойкая на речах; ну, думаю, коли вы так, буду, мол, ягоды продавать. И точно, наберу круженьку земляники и к Павлу Лександрычу снесу, — он сам любил ягоды покупать у баб. Ну, таким манером покупал у меня ягоды и деньги платил, супротив других баб даже больше платил и все наказывал чаще носить… Гляжу я, стал Павел Лександрыч со мной заговаривать, слово за слово, а сам таково крепко в меня всматривается. Глупое место было: мне бы бежать, а мне это даже приятно было… Ей-богу, от глупости больше!.. Потом зачал он меня пощипывать да заигрывать, а я бросила с ягодами к нему ходить. Дома ничего не говорю, а сама нейду к нему, и конец делу. Только дедушка меня опять донимать стал: ступай да ступай, — ну, я и повинилась ему во всем, как на духу. «Пустое, — говорит. — Надо терпеть, Матренушка…» «А муж?» — говорю. «А што, — говорит, — муж твой означает, коли тут целый мир терпит, может, тыщи народу томятся… а?» И пошел наговаривать, и пошел наговаривать, складно умел таково говорить. Тут уж и я поняла, к чему он речь-то подводит, и даже ужаснулася; ноженьки мои подкосились, свет из глаз… Конечно, по промыслам бабы везде балуются, а в Березовском это даже совсем нипочем, а мне-то стало обидно, што меня свои же в яму толкают. И вскинулась я на дедушку, так с кулаками над ним и хожу: «Ты, такой-сякой, чему меня учишь, а? Как у тебя, старого, язык повернулся?..» А он на меня. «Разве, — говорит, — я тебя из-за денег посылаю, глупая? Ежели, — говорит, — мир так порешил, потому как от Павла Лександрыча житья нет… Мир-то больше нас с тобой. Послужи миру-то, а твоей вины тут никакой не будет». Я реветь, а дедушка смотрел-смотрел на меня, снял рубаху, повернулся спиной и говорит: «Смотри, дитятко, какие у меня узоры-то нарисованы, да я не ревел, когда миру надо было послужить…» А спина у дедушки вся исполосована белыми рубцами, точно вот обожжена чем, и кости даже знать, где были измочалены палками… Это его палками наказывали, когда он еще в шахте робил и шахту затопил, потому ему тоже от мира наказ такой был. Ему за это за самое пятьсот палок и всыпали… Подневольный народ тогда был,

замаяли подземной работой, вот мир и порешил шахту у начальства затопить, а дедушка в штегерях ходил — его и заставили.

Старушка замолчала, с трудом переводя дух. Где-то далекодалеко, как пушечный выстрел, прокатился глухой раскат грома; над горизонтом выплывало темное грозовое облачко и быстро подвигалось к нам. Зной стоял прежний, но теперь порывами набегал легкий ветерок и качал черемухами и рябинами. Таня проснулась и заплакала.

— Слава тебе, Господи… — крестилась старуха, рассматривая катившуюся по небу тучку. — Давно уж земля дождичка просит… травушка-то больно притомилась.

— Что же дальше-то было, бабушка? — спрашивал я, заинтересованный рассказом.

— Дальше-то? А ничего. Павел-то Лександрыч совсем стишал, точно другой человек сделался… Сначала я ягоды ему все носила, потом грибы, а потом и совсем к нему перешла жить. Вдовец он был, — ну, я и жила у него. До меня он больно добрый человек — одевал, дарил, баловал… А я все делаю, как дедушка учил, все за мир хлопотала. Мужа штегерем сделал Павел-то Лександрыч, родню в люди вывел. Ох-хо-хо!.. А я от хорошей жизни еще краше стала: идешь, бывало, по улице, так чужой народ любуется. Кланяться стали, потому, што хочу, то и делаю — большую силу забрала у Павла Лександрыча. Чудной он какой-то был, прости его, Господи… Сиачала-то я даже боялась его, а потом привыкла, так привыкла, что и про мужа совсем забыла. Вот она, красота-то, куда завела: мужа не жаль, а Павла Лександрыча жалеть начала, точно вот приросла к нему. Даже какая-то злость на меня нашла: нарочно, бывало, дразню мужа, чтобы сн меня колотил, как других баб мужья бьют… А то, бывало, совесть зачнет мучить, ночи не спишь, Богу все молишься, — нет, ничего не берет. Так-то раз мучилась-мучилась да и порешила: брошусь я от этой жизни в шахту, все одно — моченьки моей не стало. Совесть доняла… Похудела, задумываться стала, а дедушка-то все уж примечал за мной, што неладно, мол, што-то с бабой деется. Умственный был старичок… Ну, раз я вечерком и отправилась в лес, думаю, брошусь куда-нибудь в шахту, потому тошнехонько; иду это я болотом, а дедушка мне навстречу, так же вот разную травку собирал. Пользовал он народ травкой… Увидал меня и говорит: «Нехорошее у тебя на уме, внученька…» Я ему опять все и рассказала: реву и рассказываю, а он слушает и тоже плачет. Вот он тогда и добыл из-за пазухи эту самую травку, Петров-Крест, и говорит: «Внученька, вот тебе травка хорошая… пей ее с молитвой, может, Господь и поможет, а рук на себя не накладывай. Это травка особенная, крестом в землю растет, Божья травка; от наших грехов крест Господень в землю ушел». Стала я эту травку пить — и точно, облегчало… В те поры и Павел Лександрыч помер, девочка у меня от него осталась, — ну, я из Березовска уж ушла: тяжело было на людей глядеть. С дедушкой все жила, он меня и травы научил собирать, и какая в какой траве польза… Дочка-то потом замужем была да померла, а мне вон Танюшку оставила.

— А муж?

— Муж?.. Совсем он свихнулся, водкой зашибал сильно… Давно уж его тоже в живых нет. Ох, грехи, грехи!.. Танюшка, милушка, оболокайся, может, еще поспеем до дождя домой добежать.

Старушка заторопилась, связала свои травы, спрятала какой-то узелок в кусты и, простившись со мной, исчезла в кустах. Я тоже пошел и, взобравшись на каменный утес, долго провожал торопливо уходившую парочку: старуха тащила девочку за руку и скоро скрылась в березовой рощнце. Мне с возвышенности видно было все мертвое озеро, тянувшееся верст на пять; направо, из-за соснового леса, выдвигался острый мысик, а за ним бурым пятном виднелась глухая деревушка, где жила старуха. Туча уже висела над головой и совсем закрыла солнце; было душно, недалеко пронеслась со свистом стая уток и пала в болото. Вот и первые крупные

капли дождя застучали с сухим шумом по зелени, вот и глухой шум от надвигавшейся грозы, и молния, и раскатистый, гулкий удар грома, гулко грянувший около самого уха… Я шагал с собакой чрез кусты к лесу, чтобы укрыться от ливня где-нибудь под деревом.

Зверство

I

Горячий летний день. Река точно застыла. Изнемогающие от зноя собаки напрасно ищут спасительной тени по разным заугольям. Красиво дремлет на крутом берегу кучка домиков, спрятавшихся на вековом бору. У самой воды вытянулось деревянное здание, где чающие исцеления пьют железную воду и принимают ванны. Это провинциальные «минерашки», забравшиеся на сибирскую сторону Урала. Местное название — Курьи. Публика уже привыкла к ним и охотно их посещает, особенно благодаря удобствам, которые доставляет Уральская железная дорога, — по ней до вод рукой подать. Скептики клятвенно уверяют, что курьинская вода не содержит ни одного атома железа, а верующие доказывают, что вода прекрасно действует. Мы знаем только то, что Курьи очень многим помогли, что они доступны самым небогатым людям и что наконец несколько деревень живут недурно благодаря «наезжающим господам». В зной публика прячется по квартирам или бродит по парку, и только самые неугомонные и точные курсовые дамы торопливо пробираются к ванным. Мне не помогут никакие воды, но я верю в животворящую силу солнца и по целым часам брожу на припеке. Солнце — все, оно податель жизни, главный двигатель, и есть основание подозревать, что оно же и починивает многое, что мы, по свойственному одному человеку безрассудству, так последовательно и упорно расстраиваем. Но наше северное солнце скупое, и приходится дорожить каждым солнечным днем. Итак, я иду по самому открытому месту; зной так и пышет. Сделав определенный круг по крутому угору, спускаюсь к реке и по пыльной дороге иду к парку, где так хорошо отдохнуть сейчас.

Территория собственно вод отделена от крестьянской земли деревянной изгородью. У главного въезда воротником стоит слепой парень, который молча кланяется каждому прохожему. На водах парень уже свой человек. Мне нравится в нем известное спокойствие: он не пристает к прохожим, не канючит и принимает милостыню, как должное. Приезжих в лето набирается несколько сот, и если каждый подаст всего один пятачок, то получится изрядная сумма. Слепой парень, видимо, спокоен за свое существование, тем более, что у него в руках призрак некоторой должности — он затворяет ворота, чтобы не пускать в парк жадную деревенскую скотину. Нужно видеть тревогу этого слепого лица, когда со стороны деревни послышится торопливый топот бойких овечьих ног. Овца не корова, так и норовит прорваться через заповедную грань, и слепой ужасно волнуется, когда почувствует приближение вороватой твари. Не стало ей, подлой, травы в поле, так нет, давай пролезу еще в парк… Я иногда разговариваю с слепым человеком, который узнает меня по шагам.

— Да ведь много ходит людей мимо, как же ты узнаешь? — спрашиваю я.

— Приобык, а потом в жару ты один ходишь… Я вот тоже на солнышке-то люблю… во как жарит!..

В описываемый день я еще издали увидел своего знакомца слепого в большой ажитации. Он размахивал руками и громко ругался с каким-те мужиком, который понуро сидел у самых ворот.

— Уйди от греха! — кричал парень и пробовал стащить за руку упрямого мужика. — Мое место… Ишь, выискался тоже, ловчак… Проваливай, говорят…

— А ты не тронь… — как-то равнодушно отвечал мужик, продолжая сидеть. — Жаль тебе места-то, ироду?

— Уйди от греха… Тебе говорят…

Единственной свидетельницей этой сцены была босоногая и белоголовая крестьянская девочка лет семи, которая стояла посреди дороги и с детским любопытством ждала, что будет дальше. Мои шаги заставили воевавшего слепца утихнуть, — нехорошо при постороннем-то барине ругаться. Когда я подошел совсем близко, дело разъяснилось: сидевший мужик также был слепой, следовательно, являлся конкурентом нашему курсовому слепцу. Это была профессиональная ненависть, как бывают профессиональные пороки и добродетели и даже профессиональная честь…

— В чем дело? — спросил я, останавливаясь.

— Гонит, — коротко ответил слепец-чужак. — И что я ему помешал? Слава Богу, обоим места хватит и еще даже от нас останется…

— Да ведь я тут который год? — заспорил курсовой. — Я при должности состою… Обыщи себе свое место и сиди. Небось, я не полезу к тебе…

Курсовой слепой отемнел еще в детстве, может быть, он и родился «темным», так что его еще молодое лицо приняло типичный отпечаток неподвижности. Слепец-чужак являлся уже калекой: все лицо у него было обезображено, а вместо глаз оставались какие-то дыры. Но по подвижности этого обезображенного лица можно было предположить, что он таким сделался сравнительно недавно.

— Как же быть в самом-то деле?.. — вслух подумал я.

— Гонит яво, — проговорила девчонка, очевидно, принимавшая сторону чужака, которого и привела.

— А так и будет: сяду и буду сидеть, — равнодушно ответил мужик. — Ежели разобрать, так мне здесь самое настоящее место… Что тебе: один, как перст, а у меня семейство, поди, в деревне-то осталось. Себя воспитывай, да еще ребята… это как по-твоему?

— От себя отемнел, так нечего и жалиться, — уязвил курсовой слепец. — А я урожденный… моей причины никакой не было… Господь нашел.

— И меня Господь нашел, — спорил чужак. — Еще как нашел-то!

— Ты недавно ослеп? — спросил я, заинтересованный этим спором.

— А второй год… По своей, значит, вине принял наказание Божие, — с покорным равнодушием ответил он. — С земляком мы, значит, домой обращались, с заработков… Идем это к себе в деревню, остается еще верст со сто. Известно, прохарчились, обносились, устали. Я и говорю товарищу-то: «Скажемся бродягами…» Это чтобы за тепло не платить и за харчи. Добрые люди бродяжек даром пропитают… значит, для своей души спасение… Хорошо. Сказались мы бродягами… Попаило нам сразу: тут покормят, там пятачок подадут… А нас уже из совести совсем вышибло! Набрали мы денег да в кабак, да еще с собой полуштоф водки… Приходим таким манером в деревню и уж смело в крайнюю избу: так и так, бродяги. Хозяин видит, что бессовестные, — только бы отвязаться от дорогих гостей. То-се, собрали на стол поесть, а мы полуштоф свой расчали… Поели, выпили и пошли дальше: сыты, пьяны… Только этак отошли

мы верстов с пять, а земляк-то и говорит: «Эх, — говорит, — посудину напрасно оставили. Воротимся…» Ну, идем мы это назад к деревне, а там дым столбом: горит деревня-то летним делом. Только мы увидали дым, а навстречу уж мужики бегут… «Вот, — кричат, — поджигатели, бродяги…» Ну, какой тут разговор: пымали нас и давай бить смертным боем… Били-били, проволокли на пожарище и хотели в огонь бросить, да раздумали: кто-то притащил купоросного масла, да купоросным маслом нас и облили… Ну, конечно, мы без памяти стали, а они, мужики-то, на телегу нас да к чужой деревне и подбросили. Тут уж нас обыскали, значит, и по начальству предоставили. В земском лазарете вылечили… А потом мужиков-то, которые нас отемнили купоросным маслом, в суде судили и в Сибирь засудили. А нам разве от этого легче? И наши семьи засиротели, да и у тех тоже… Обязали их будто воспитывать нас, а какое воспитание, когда у самих ничего нет… Вот какое дело, барин!.. За чужую милостыню нас Господь нашел…

Вечером, проходя воротами, я опять увидел только одного курсового слепца, а чужака не было.

— Где тот, давешний-то слепой?

— А ушел…

— Куда ушел?

— Кто ево знат… Ушел куды-то.

II

Ровно через неделю я встретил слепца-чужака на станции Уральской железной дороги Богданович.

Он пытался попасть на поезд, но без билета его не пускали: железная дорога не богадельня… Он так и остался на вокзале с протянутой рукой. Не нашлось настолько щедрого благодетеля, который заплатил бы за его проезд «до города». Это была совершенно бесполезная попытка прорваться в такое место, где слепой человек может рассчитывать на щедрое подаяние: его из города высылали уже несколько раз «по месту жительства».

В вагоне третьего класса, где вместе со мной возвращались с вод из Курей еще несколько курсовых, зашел разговор о несчастном человеке. Одни жалели его, а другие порицали. Особенную жестокость проявил благообразный седенький старичок, по-видимому, дышавший голубиной кротостью.

— Так и следует их, варнаков, — повторял он настойчиво: — не притворяйся бродягой… Милостыню-то не им, варнакам, подают, а Богу. Лепта… Вот теперь и казнись за напрасную-то милостыню, да и другим закажи. Да…

— Это одна жестокость, — спорил курсовой отец дьякон. — Наказание несоразмерно с виной… Помилуйте, купоросным маслом выжечь глаза живому человеку!..

— Достаточно этого зверства среди мужиков, — присовокупил молодой купчик. — Даже ужасное зверство происходит… Страшно рассказывать. Про подкованную-то девку слышали? Мне это верный человек сказывал… как же-с!.. Тоже в деревне дело было… Девка-то гуляла, ну ее свои парни и захотели поучить. Привели в кузницу, поставили в лошадиный станок и сейчас кузнецу: «Подковывай!». Тот туда-сюда, а они ему ножом пригрозили. Что бы вы думали, ведь подковали, как лошадь куют: например, взяли подкову, накалили и сейчас, например, к левой ноге приставили и гвоздями-с… Так на обе ноги подковали и одну руку, а тут уж девка не

стерпела: в станке померла-с.

— И поделом, не плешничай, — подсказал благообразный старец. — Разврат-с… Для нее же лучше, то есть для девки, что, например, еще на земле приняла казнь за свои грехи. Агроматный разврат идет теперь среди мужиков, не говоря о заводах или городах. Ослабел народ, в особенности женский пол… Их бы, блудниц этих самых, всех купоросным маслом!..

Легенду о подкованной девке мне приходилось слышать в нескольких вариациях, но достоверность ее еще требует подтверждения. В настоящем случае важно отношение к такому факту «посторонней публики». Благочестивый старичок напирал главным образом на «чернядь», на мужика, для которого требовал и кнут, и зеленую улицу, и застенок, а публику в собственном смысле выгораживал.

— Что такое мужик: зверь! — ораторствовал он уже с ожесточением. — Посмотрите, что мужики по деревням над своими бабами выделывают… Страсти Господни! И вообще зверство… Как окружный суд наедет куды-нибудь в Шадринск или в Ирбит, глядишь, за две-то недели лет двести каторги набежит. Одним словом, варнак народ по здешним местам… Озверели все.

— Все-таки несправедливо платить зверством за зверство! — возмущался кто-то в публике.

— Ею же мерою мерите, возмерится и вам, — отвечал старичок. — Нельзя-с: темнота… Я главным образом про мужиков выражаюсь, а не касаемо до прахтикованных людей, которые имеют свое понятие. Да… Одним словом, мужик-с!..

— Все хороши, взять хоть тех же купцов, — заявил не известный никому господин, слушавший до этого момента молча. — Знаете дело купца Валина, который в Шадринске жену из ружья застрелил? Да-с… Положим, они пьянствовали вместе и человеческий образ потеряли, а все-таки…

— А она ему рожу всю исцарапала, — спорил старик. — Это, значит, Валину, а потом и говорит: «Вот, — говорит, — ты послезавтра именинник будешь, так покрасуйся с ободранной-то рожей». Ну, он и не стерпел…

— Хорошо, я допускаю, что пьяные люди могут сделать все, — согласился господин: — я даже не защищаю убитую… Оба пьянствовали, бесчинствовали и кончили уголовщиной. Это между ними и останется… А вот что нехорошо: зачем оправдали Валина-то? Мало того, что оправдали, Валин-то потом к оставшемуся после жены имуществу еще права наследства предъявил… Пожалуйте, говорит, мою седьмую часть. Где же, например, совесть?..

— Это уж адвокаты научили…

Поезд летит по слегка всхолмленной равнине. Вдали мелькают какие-то деревни, перелески и шахматы полей. Картина самая мирная, которая совсем уже не вяжется с жестокими разговорами. Наступает долгая пауза. Благообразный жестокий старичок глядит в окно и тяжело вздыхает, сокрушаясь об ему одному известных грехах. Споривший с ним господин задумчиво крутит усы и время от времени вызывающе поглядывает на других. Очевидно, его так и подмывает еще раз сцепиться с жестоким старцем и договорить что-то недосказанное, что его, видимо, мучило. Одет он прилично и вообще приличен. Только в серых выкаченных глазах светится что-то такое желчное и беспокойное. Одним словом, довольно распространенный тип человека, который «не позволит наступать себе на ногу». Он попробовал завести разговор с о. дьяконом, но из этого ничего не вышло: о. дьякон оказался таким кротким человеком, что соглашался уже вперед с каждым вашим словом.

— Нет, позвольте-с… — говорил желчный господин, споря с невидимым противником… — Так нельзя-с!.. Конечно, мужицкое зверство возмутительно, но это физическое зверство, где человека убивают, режут, ослепляют, увечат… Сравнительно это еще не так страшно, как нравственное зверство. Даже подкованная девка, в сущности говоря, терпима… Конечно, я говорю о сравнительной жестокости и хочу сказать то, что, перенеси эта девка операцию подкования, она стала бы жить калекой, как мужик с выжженными глазами. Так я говорю?

Вопрос был обращен к благоразумному старцу, точно желчный господин хотел выстрелить в него.

— Обнаковенно… — бормотал старец, напрасно стараясь проникнуть в скрытый подвох. — Темнота, вот что!

— А позвольте узнать, что вы называете темнотой? — прицепился желчный господин.

— Очень просто: когда человек неполированный… вообще…

— Понимаю. Только, по-моему, совершенно наоборот: полированный-то человек и вынет из вас душу. Про дело Миловзорова слышали? — обратился желчный господин уже ко всем. — Ну, конечно, слышали… И в местной прессе было напечатано в качестве слуха. Да-с… Только все это дело публике неизвестно вполне, а я могу его рассказать.

— Господин, позвольте! — азартно вступился благообразный старец. — Про этакое дело сторонним людям даже и разговаривать-то невозможно, потому как промежду мужа и жены один Бог судья. Да-с… Это даже и в законе сказано… Ежели, например, девица не соблюла себя и вдруг под венец… Это хоть кого касаемо, так не вытерпит. Таких-то в воде топить надо, вот что… Прямо будем говорить!

— Нет, уж извините! — закричал желчный господин, поправляя начинавший давить его ворот крахмальной сорочки. — Никакой зверь так-то не сделает, как ваш «прахтикованный» и полированный человек. Ужаснее всего то, что ваш Миловзоров ничего ужасного из своей особы не представляет: самый обыкновенный средний человек… да. Я его давно знаю… в карты даже играл не один раз… Совсем приличный и скромный человек. Хорошо-с… Так вот стукнуло Миловзорову сорок лет, и вздумал он жениться: есть свой небольшой капитальчик, есть место какого-то доверенного, ждать больше уж нечего, значит, остается жениться. Стал высматривать невест и нашел подходящую… Семья большая, девушка красивая и на возрасте, а приданого нет. В гимназии училась, а тут у родителей жила в каком-то заводе, где и женихов нет. Поговаривали про нее, что была какая-то у ней любовная история, и женихи обегали ее. Хорошо… Все это Миловзорову на руку, конечно, потому что не по любви же восемнадцатилетняя девушка пойдет за него. Присватался, девушка в слезы, а родители рады пристроить ее… Ну, поплакала, погоревала, а потом родные, конечно, уломали ее. Миловзоров радуется, что на склоне лет такую красоту заполучил. Скрутили свадьбу, гости разъехались, молодые остались одни… Что у них было — неизвестно, а известно то, что утром Миловзоров потребовал почтовых лошадей, выгнал жену буквально в одной рубашке и на дорогу дал заряженный револьвер, из которого посоветовал застрелиться. Она тут же в спальне и записку написала, что, мол, прошу в моей смерти никого не обвинять. Одним словом, все по форме… полированно… Вот и едет несчастная женщина неизвестно куда… Нет, она знает, куда едет, потому что и записка написана и револьвер в руках. К родителям нельзя и носу показать, муж прогнал — одним словом, некуда ей идти, вот этой самой женщине с револьвером. Она виновата — это правда… Но, может быть, она надеялась, что муж ее простит, просто пожалеет ее молодость — мало ли на что надеется человек. И вдруг она видит, что ей в восемнадцать-то лет ничего, кроме смерти, не осталось. Будь она потерянная женщина, так она нашла бы

утешителя, а тут другое: душу вынули из живого человека в одну ночь. Ведь Миловзоров не без греха прожил до сорока лет, а жене не мог простить… Сидит она с револьвером, колокольчики позванивают, звенит у ней в голове, и чувствует она, что кромешное зверство кругом: и тот человек, который обманул ее девичью неопытность, и молодой муж, и родители — все звери, один к одному. Целую станцию так-то она, бедная, ехала и все думала, а потом приехала на постоялый двор, забежала куда-то в конюшню и бац из револьвера. Только рука дрогнула — не насмерть первая пуля, пожалуй, еще оживешь, — она второй раз бац и в третий. Так и кончилась…

— Сама виновата, — заключил седенький старец.

— Конечно, виновата, никто не спорит. А вот вы, например, не имеете греха на душе? Может быть, мы-то с вами в тысячу раз хуже ее, не может быть, наверное, и все-таки живем, потому что и сами озверели… Да. Ведь Миловзоров душу живую убил — и ничего; он служит на старом месте, его терпят, и, главное, он сам себя терпит. Даже больше, он считает себя правым, потому что и другие «прахтикованные» люди считают его таким. Ом может спать, есть, пить, разговаривать с другими и даже, вероятно, женится в другой раз… Ведь такому зверству нет имени, нет меры?! Если бы он убил ее сам, так это по нашей жестокости еще понятно, как подкованная девка; но Миловзоров побоялся ответственности и довел несчастную восемнадцатилетнюю женщину до того, что она сама себя убила. Людоеды покажутся младенцами перед таким полированным человеком…

[1] На севере в глухих лесных местностях слово «поп» не имеет никакого общего значения, - оно перешло сюда из Московской Руси и сохранилось в том смысле, в каком его употребляли при великих московских князьях.

[2] Лоцман. (прим. автора)

[3] Казенник — большой железный винт, который вставляется в заднюю часть ружейного ствола.

[4] Зароблю — заработаю. Таков говор в Пермском крае. (прим. автора)

[5] Важеватый — внушительной, солидной внешности.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch